

Павел ЛЕОНТЬЕВ

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ ВЯЙНЯМЁЙНЕНА

Последним пристанищем Вяйнямёйнена были берега озера Куйтто. Более тысячи лет назад он привел народ на эти голубые и беломошные просторы, в солнечные сосновые боры, вдохновил своим словом на праведную жизнь в полном согласии с природой, и потянулись века в трудах и согласии. Люди приходили в мир свободными, жили, уважая справедливый закон предков, не порабощая никого, но и сами не становились рабами, защищали свой край от традиционных захватчиков «руоччи».

Вяйнямёйнен признавал власть мудрости и добромыслия, дабы уберечь свой род от насилия во имя обогащения и от зависти, неизменно побуждающей насилие. Но обычай мира все плотнее обступали Вяйнолу, этот затерянный среди шума лесов островок нравственности. Сюда стали проникать недобрые начала жажды наживы и зависти, люди в предчувствии прихода нового божества стали менее строго соблюдать традиции предков.

Это насторожило главу рода, и он понял, что если силой слова людей не уберечь, то с надвигающимися пороками мира должен спрашаться сам народ. Он должен найти путеводные слова к первозданной праведности так же, как сам когда-то искал их. Народ должен проявить свою волю.

Он сел в медную лодку и отчалил от берега.

По сей день на глади озера нет-нет да и появляется след лодки Вяйнямёйнена.

На прощанье он наказал: если я буду нужен моему народу, пусть позовут меня, пусть зажгут на берегу огни, чтобы я видел, куда пристать.

Так гласит легенда о следе лодки Вяйнямёйнена, которую передавали из поколения в поколение. Но как попросить основателя рода вернуться, как сказать ему, что мы его помним и чтим.

Исстари бытует эта легенда в наших краях, и если кто-то усомнится в отсутствии под ней реальной основы, то смею заверить, что она ближе к эпосу «Калевала», нежели все споры вокруг его трактовки и споры вокруг переводов и сами переводы.

В последнее время бурно развернулась дискуссия о последнем переводе «Калевала» на русский язык, которая порой напоминает рецензии на курсовую работу по разбору предложений и нормах стихосложения и при которой мы совсем забываем предмет, к которому прикасаемся.

Исходной в спорах является перевод Л. Вельского. С ним сверяются, его оспаривают, и складывается впечатление, что спорят о качестве редактирования этого первого перевода.

Каким-то угодливо-кощунственным смотрится в титуле имя Элиаса Леннрота как автора эпоса «Калевала». Великий Леннрот с этим не согласился бы.

РУНОПЕВЦЫ И СОБИРАТЕЛИ

25 апреля 1834 года Лендрот пришел в Латвяярви, где встретился с runopевцем Архиппом Перттуненом. От него за три дня он записал 4100 стихотворных строк. Много это или мало? По объему это современный поэтический сборник в 160–170 страниц. Это за три дня!

К тому времени у Лендрота уже была готова к изданию книга древних народных песен объемом в 5000 строк. Но поскольку записанные от Архиппа Перттунена руны содержали законченные повествования о героических подвигах Вяйнямейнена, Илмаринена и Лемминкяйнена, объединяли их в один эпический сюжет, то Лендрот решил перестроить книгу. К тому же песни, записанные от Ваассила Киэлевяйнена, Онтрея Малинена, также являлись связующим звеном в цепи эпических событий.

В этом пятом походе Лендрот записал больше, чем за четыре предыдущих, он записал более 13000 строк.

В 1988 году я прошел пешком и на лодках по его пятому и другим маршрутам, посетил на берегах озера Куйтто места, где он побывал, и, будучи с детства человеком привычным к таежным походам, поразился неутомимости Лендрота.

После пятого похода появилась новая редакция, уже не сборника народных песен, а целого эпоса. Лёндрот безусловно обладал большим поэтическим даром и сумел объединить разрозненные сюжеты в единую поэму. Это не произвольное соединение отдельных частей по воле своего воображения. Некоторые исследователи в процессе изучения «Калевалы» останавливаются на этом этапе. Так в свое время Аугуст Алквист, современник Лендрота и тоже собиратель народ-

ных песен, написал, что Лендрот наткнулся на рассыпанную перед ним мозаику и собрал из нее картину, которую подсказало ему его воображение. Как отмечают финские исследователи, возможно, в нем заговорил дух соперничества. Он сам собирая на территории Финляндии песни и заговоры. В 1846 году он записал песни от Симана Сиссонена, у которого до этого успел побывать и Лендрот. Но позже Алквист отказался от этого суждения.

А.Мишин и Э.Киуру, поставив Элиаса Лендрота автором «Калевалы», исходили, на мой взгляд, просто из какого-то личного желания отказать северным карелам в авторстве или высказаться в угоду давно уже опровергнутым версиям ненародного происхождения эпоса. Ссылки на то, что Лендрот сделал много поправок, перестановок строк – это лишь внешняя, техническая, сторона редактирования. Кто работал литературным редактором, хорошо знает, как выглядит рукопись писателя после профессионального или, не приведи автору пережить, после предвзятого редактирования. К примеру, Борис Полевой, увидев свою рукопись «Повести о настоящем человеке» после редактирования, был взбешен. И только вникнув в сделанную правку текста, вынужден был согласиться. Но редактор не претендовал на авторство.

Лендрот записывал не с рукописи, а со слов сказителей, и понятно, что каждый из них вносил что-то свое. После прослушивания Архиппа Перттунена он понял, что из отдельных рун складывается целая поэма, в них заключен чудом сохранившийся целый исторический пласт жизни финноязычных народов. И в этом его величайшая заслуга.

Но откуда пришло такое прозрение, такое видение?

Все услышанные им поэтичес-

кие сюжеты рассказывали о жизни, борьбе и благородстве целого народа. Если рассматривать его записи просто как ворох интересных песен, произвольно объединенных в поэму, то и при таком толковании составителя нельзя в полной мере назвать автором. Он – составитель.

Лендрот, путешествуя по Северной Карелии, увидел нечто большее.

ПОЧЕМУ РУНЫ УЦЕЛЕЛИ ИМЕННО ЗДЕСЬ, НА ЗЕМЛЕ ВЯЙНОЛЫ?

В 1822 – 1836 годах Сакари Топелиус опубликовал пять сборников старинных карельских песен. К Топелиусу-старшему приходили коробейники: Тимонен из Аконлакши, Юрки Кеттунен из Чена и Олли Мякеляйнен из Вокнаволока, настоящее имя которого было Онуфрий Мехвонен. Таким образом, жители Вяйнолы, совершенно непривычно, заявили о себе – от них Топелиус записал пять сборников стихов, которые, по признанию Лендрота, стали образцом и путеводителем для его дальнейших поисков.

Издавая свои сборники, Сакари Топелиус в 1823 году написал, что там, на востоке от границы Финляндии, в России, живет истинно финский народ в своей первозданной чистоте и достоинстве. Там, по его словам, еще можно застать изначально народный финский быт с его традициями и песнями. «Там еще слышен голос Вяйнямейнена, там звучит канtele, там еще есть Сампо».

И, как пишет профессор университета из города Оулу Уко Вахтола, это была его лебединая песня и этими словами он задал программу, в которую верили и которую осуществляли на

протяжении ста лет, пока не закрылась граница.

Сакари Топелиус призывал не просто к поиску сказок, а нацеливал изучать историю и нравственность финноязычных народов и идти в край, где еще не забыты обычай и легенды.

Именно с таким настроем ишел Элиас Лендрот в эти края. И он не ошибся в своих ожиданиях. Кажется, что бы ему стоило опубликовать уже подготовленный им сборник народных песен и продолжить работу далее в той же тональности. Но Архиппа Перттунен дал ему нить для раскрытия большой темы.

Открылась эта тема не случайно, она была выожена и открылась Лендроту в благодарность за его душевное отношение к народу Вяйнолы и в ответ на него.

Прочитайте внимательно его путевые заметки, с каким уважением он говорит о людях, с каким состраданием относится к горю, казалось бы, чужих для него людей, врачует, исцеляет. Много раз он отмечает гостеприимность карел, их добродушие и приветливость, красивые стороны быта. Когда он пришел в деревню Чена, его встретили как самого дорогого гостя, накрыли стол, подали французского вина.

Оказывается, вот как жили крестьяне. А сто лет спустя наши советские историки утверждали, что в те годы карел кору ел. И запивал французским вином?

Лендрот опасался разбойников, каковые встречались на территории Финляндии. Но местный крестьянин, сопровождавший его, успокоил: у нас здесь нет злых людей, живем мы мирно, как птицы в лесу, здесь никто тебя не обидит. В какой бы дом он ни пришел после долгого пути, хозяева принимали радушно, всегда топили баню, и непременным угождением на столах были самовар с

пирогами, рыба и брусника или морошка. Он очень тепло отзывался об общительности карел. На финской стороне, по словам Лендрота, если спросить хозяина о чем-либо, тот долго скребет затылок, как бы стараясь там отыскать ответ на его вопрос.

Ему понравились порядок и чистота в карельских домах: «там чище, чем в присутственных домах Финляндии». В путевых заметках не упоминается ни одного случая унизительной подчиненности и низкопоклонства среди карел. Такой здоровый общественный климат является самой жизнеутверждающей средой для творчества и для поэзии.

Все действия героев «Калевалы» происходят в этой нравственной среде и направлены на защиту существующих устоев края Вяйнолы.

После выхода в свет «Калевалы» появилось много споров о том, являются ли персонажи эпоса историческими личностями или мифическими, сказочными.

Напомню слова Лендрота из предисловия ко второму изданию «Калевалы»:

«Самой лучшей и богатой колыбелью этих песен является Вокнаволокская волость Архангельской губернии. На восток оттуда, в сторону Туоппа-ярви и Пяярви, песен уже заметно меньше».

Замечание это, на мой взгляд, справедливо. В детстве, сразу после войны, нас, обездоленных карельских детей, собрали в Ухтинский детдом. Там были ребята из Ухты, Вокнаволока, Аконлаакши, из деревень, окружающих Кийтхен-ярви, из Понгалакши, Юшкозера, Письмагубы, Кестеньги и многих других деревень. По вечерам мы рассказывали сказки, когда-то слышанные в раннем детстве. Ребята из Вокнаволока и окрестных деревень рассказывали старинные карельские сказки, каждый на

свой лад, так, как они их услышали от своих, деревенских. Ухтинские ребятишки, дети из Чикши, Куусиниеми, Куженваара (была такая деревня на тридцать втором или тридцать пятом километре от Ухты в сторону Кеми, и оттуда был мальчик Вейкко Максимов), рассказывали свои сказки, чем-то отличающиеся. Язык, обороты речи у всех были свои. У кестеньгских и сказки, и речь были другие. Ребята они были хорошие, доверчивые, с удовольствием слушали других, открывали для себя неизвестный им мир сказок, но сами пересказывали сказки, прочитанные из книжек. Они, как и все мы, рано лишились родителей и не успели услышать сказок своей семьи.

Начиная с семи лет, я три года прожил в Соломенском детдоме, вживался в русскоязычную среду и послевоенные беспризорные нравы. В детдом привозили детей, потерявших в годы войны своих родителей, из петрозаводских концлагерей, где они содержались оккупантами во время войны. Были мы в сорок пятом одичавшие, исхудальные, многие – забытые и больные. Первое воспитательное средство, примененное ко мне, семилетнему, не знающему русского языка, был карцер. Да, самый настоящий. Люди были ожесточены войной. И тогда первое средство, которое спасло мою душу от надломленности, – была необычайная доброта директора детдома Наталии Ивановны Елошиной. Она взяла меня из карцера к себе домой, обогрела, за один вечер ее племянница Злата научила меня читать. Вот тогда-то я наткнулся в библиотеке на книжку с названием «Калевала». Я просто вцепился в нее. В ней было все узнаваемо и волнительно. Имена, названия – все было знакомое и родное. Хотя, казалось бы – откуда?

Из семи прожитых лет четыре года прошли в эвакуации. После Соломенского детдома я попал в Ухтинский, и тут я почувствовал себя дома. Тем же летом, когда я там появился, к нам пришла сказительница Мария Михеева. Она была в простой домашней одежде, повязанная деревенским плащом, и добрым и ласковым голосом пела для нас, одичавших сорванцов, карельские песни, отогревая наши души. Это была удивительная, исцеляющая доброта, мы возвращались в тот мир, который нам был предначен от рождения.

Для меня с того дня началась целая эпоха узнавания родины. Я узнавал места, где ранее даже не бывал, до изнеможения ходил по лесам, в однажды ставшим мне родными. Мы уходили и за десять, и за двадцать километров, бродили по брошенным оборонам, исследовали наши землянки и построенные финскими солдатами домики за их линией обороны. В торжественных сосновых лесах, на серых ягельниках я чувствовал себя настолько уютно, как нигде и никогда более в моей жизни.

Как-то на партийной конференции старейший учитель района Матвей Исакович Пирхонен рассказал мне присказки о жителях Толлореки и Понгалакши, назвал прозвища, данные жителям этих деревень, и все оказалось настолько убийственно точным. Детдомовские ребята рассказывали то, что они успели услышать от родителей и что бережно, я бы сказал — трепетно — хранили в своей цепкой детской памяти. Впоследствии, особенно у рыбаких костров и в охотничих избушках, мне довелось услышать очень многое. Это невозможно передать в коротком пересказе, пришлось бы поведать всю технологию от вязания сетей до их содержания и постановки,

рассказать, как и почему называется та или иная путанка в сетях, именно так, а не иначе, потому что на понимании всех этих вещей строится весь разговор и отсюда, как ячей к ячее, вяжется беседа, воспоминания, шутки, были и небылицы. Возрождается из жизненных эпизодов.

В свое время Антти Тимонен сетовал на то, что целый пласт народной терминологии не признавался петрозаводскими литературными редакторами. Им эти слова и понятия были неизвестны и расценивались как просторечие, не имеющее права на литературное существование. В Петрозаводске бытовал финский язык, принесенный сюда переселенцами из Финляндии, Канады и Америки еще в 20-е годы.

В то же время редакторы из Финляндии, а особенно — переводчики, иногда просто глумились над переводами на финский своих петрозаводских коллег. Во многом, видимо, они были правы, так как современный финский язык на несколько десятилетий ушел от того языка, к которому привыкли петрозаводские переводчики. Был в этом, естественно, и свой цеховой интерес, борьба за кусок хлеба. Так и получилось, что, по их суждениям, работа петрозаводских переводчиков оказывалась ненужной для финского читателя. Вопрос спорный. Наиболее тонкие ценители языка ценили наш финский за сохранившуюся в нем первородность.

В этом состязании переводчиков и ценителей языка остался непризнанным северокарельский колоритный язык, который мог стать еще одним пояснением и еще одной разгадкой к «Калевале».

Упоминаемый перевод «Калевалы» сделан именно с позиций привнесенного извне языка, без опоры на его исходные корни, и

потому он временами выглядит довольно неуклюжим и беспомощным.

Он оказался как бы не привязанным ни к какому народу, ни к чьим-либо корням и традициям, а просто знакомящим читателя с дошедшим до нас памятником устного народного творчества.

И все же, если провести границы рунопевческих деревень, составить языковое сходство, традиции и быт, то родина «Калевалы» становится узнаваемой. Бессспорно то, что персонажи, объединенные в эпос, были известны во многих местах Финляндии и Карелии, но песни о них наиболее полно осели и сохранились именно здесь.

После Лённрота рунопевческие деревни стали своеобразной северной Меккой. Завороженные описаниями края, где еще сохранился старинный добрый быт, сюда устремились писатели, художники, собиратели рун, исследователи. Для истории остались записи и фотографии И.К. Инхи, рисунки и воспоминания Луиса Спарре, которые позже отредактировал писатель Эл Лехтонен. Всеобщее внимание привлекла книга журналиста из Оулу Александри Эрвасти о его путешествии в Беломорскую Карелию. Здесь побывал исследователь Самули Паулахарью. И уж, конечно, самые красивые и романтические произведения посвятил Беломорской Карелии писатель Илмари Кианто. Здесь же побывал художник Аксели Галлен-Каллела, сделал множество этюдов и набросков, написал целый тематический ряд картин, которые впоследствии стали иллюстрациями к «Калевале».

Писатели и художники черпали здесь творческое вдохновение, рассказывали в своих произведениях о том, что край патриархальной мечты не ушел в небытие, он живет по своим древним законам нравственности.

Все их рассказы, картины вылились в живое подтверждение того, что эпос «Калевала» рожден жизнью и взят из жизни. Из этого всего родилась историческая и культурная эпоха романтического карелизма.

«КАЛЕВАЛА» И ФИНЛЯНДИЯ

Внимание просветителей Финляндии руны привлекли еще до появления в свет «Калевалы» как эпоса. В 1832 году в номере 15 газеты «Гельсингфорс моргонбладет» Габриэл Рейн опубликовал исследование «Вяйнямейнен как историческая личность». Это направление на многие десятилетия стало предметом научных поисков.

В марте 1836 года на годовом собрании Литературного общества Финляндии ее председатель Линсен в своем докладе сказал, что «Калевала» является кладом старинных песен финского народа и она не просто неизмеримо обогатила национальную литературу по сравнению с прежней, но придала ей воистину европейскую значимость. Обладая этими эпическими произведениями, Финляндия может достойно и с полным самосознанием учиться понимать свое прошлое и с их помощью развиваться духовно. Она с полным правом может сказать себе: и у нас есть своя история.

В издаваемой Снеллманом газете «Спанска флаган» в 1839 году Хенрик Пипониус пишет:

«Те песни, что дошли до нас под названием «Калевала», есть не что иное, как дошедшее до нас эхо своеобразной культуры тех давних времен. Они являются последним напоминанием о ее прежнем величии».

Для Финляндии, которая в 1809 году приобрела статус государ-

ства, стала Великим княжеством Финляндским и получила право развивать свою письменность на финском языке, появление «Калевалы» стало поворотным событием. М.А.Кастрен, известный финский ученый и исследователь, сказал, что у нас в этих сказаниях скрыт такой клад, который не затмят Гомер, Оssиан и Эдды. Он отметил, что в них скрыта великая и неразгаданная тайна. В этих его словах скрыт значительный смысл. После выхода в свет «Калевалы» Кастрен побывал в Латвяярви у Архиппы Пертунена. Он попросил runопевца исполнить что-либо, и когда Архиппа пел, он сверял исполнение по напечатанному. Это было то же самое.

Подход к оценке роли «Калевалы» для Финляндии с годами менялся. Менялось и толкование. В 1920 – 1940 годы, когда отношения между Россией и Финлядией были не самыми лучшими, появились высказывания о том, что эпос создан не на основе песен, записанных в российской Карелии. Произведения писателей-карелианистов уже не вызывали в прессе такого восторга. Саму идею карелизма стали спекулятивно использовать как повод для военного нашествия в Карелию, якобы для освобождения соплеменников от большевизма.

В годы Второй мировой войны попытались в пропагандистских целях снова повернуть внимание к карельской народной теме и тем самым показать свою заботу о сохранении народных традиций, придать военному вторжению более человеческое лицо, хоть в какой-то мере оправдать его. В Вокнаволоке инсценировали карельские свадебные обряды, а актеров – местных жителей, на эти спектакли приводили принудительно. Снимки с этих спектаклей и сейчас выдаются порой за

подлинные свадебные. После войны, когда отношения между нашими странами вошли в нормальное мирное русло, финские исследователи с самыми добрыми намерениями попытались собрать жителей деревни на фольклорные мероприятия. Но те женщины, которые еще не забыли войну, в испуге запирали двери: не пойдем, а то снова будут бить.

В 1920–30-е годы в Финляндии появилось много исторических фальсификаций, превратно толкующих события гражданской войны на Севере Карелии. Наши бдящие органы использовали их как усердно поданную и якобы компрометирующую местное население информацию для расправы с неугодными, и не выборочно, а поголовно, без разбору.

Тогда же стали появляться кабинетные толкования «Калевалы», далекие от истоков и родины песен. К примеру, в четвертом издании книги «Пояснения к «Калевале» для школ» Э. А. Сааримаа, Хельсинки, 1946 (Kalevalan selityksia kouluja varten), толкование многих терминов и слов сильно отклоняется от тех, что еще живы в народе, казалось бы, бери, рассказывай и иллюстрируй. Но приводятся скандинавские, литовские и другие версии. Я понимаю, что в те годы вести исследовательскую работу в карельских деревнях едва ли было возможно, но такое толкование явно ставит целью умышленный увод от карельской темы. А точнее, от российской Карелии.

Но это были политические однодневки. О культуре можно говорить только языком культуры, и сколько бы ни было временных ухищрений, история возвращается в свое русло. Так и тут. В оценке «Калевалы» снова вернулись к прежнему толкованию, пусть не столь восторженно, но с проверенной историей обоснованностью.

В этом смысле хотелось бы

полностью, отдельным материалом, привести доклад профессора из университета финского города Оулу "уко Вахтола. Сделан он уже в наши дни, в конце 90-х.

Он говорит, что с появлением «Калевалы» финская культура стала обретать свое национальное лицо. «Калевала» дала Финляндии язык высокой поэзии, стала основой финского литературного языка. В живописи был сделан поворот от шведской напыщенной героики придворной знати к национальным мотивам. Самым ярким тому примером является Аксели Галлен-Каллела. В музыке появилось новое направление, олицетворением которого стал Сибелиус. «Трудно преувеличить значение карельской национальной культуры в становлении финляндского самосознания как источника, питающего национальную культуру и историю, как духовную опору для финнов в 1800 – начале 1900 годов... эти истоки мы нашли в Беломорской Карелии».

«КАЛЕВАЛА» И РУССКАЯ МУЗА

В 1826 году Ф.Н.Глинка, привлеченный по делу декабристов, был отправлен в ссылку в Петрозаводск, под тайный надзор полиции. Здесь он пишет поэмы «Дева карельских лесов» и «Карелия». Пушкин в «Литературной газете» дал им высокую оценку.

Ф.Н.Глинка глубже, чем другие русские поэты, коснулся устного народного творчества карел. Этому способствовала встреча с профессором Императорской Академии наук А.И.Шегреном.

Еще в 1825 году Шегрен побывал в Северной Карелии, в деревнях Войница, Вокнаволок, Чена. Здесь он встретился с Онтреем Малиненом и записал от него несколько рун, которые впослед-

ствии вошли в сборник «Старинные песни финского народа». В 1827 году Глинка и Шегрен встретились в Петрозаводске, и между ними завязалась крепкая дружба. Шегрен познакомил Глинку с материалами, собранными им в путешествиях по Северной и Олонецкой Карелии, и Глинка сделал перевод руны «Рождение арфы», записанной Шегреном в деревне Чена у Петра Кеттунена. Впоследствии эту же руну среди многих других записал Элиас Лендрот, и она вошла в «Калевалу» 41-й руной.

Член-корреспондент АН СССР Василий Григорьевич Базанов в своей книге «Поэзия Русского Севера», изданной в Петрозаводске в 1981 году, приводит перевод руны, сделанный Федором Глинкой, и параллельно с ним перевод той же руны, выполненный 60 лет спустя Бельским. Сверяя оригинал с этими двумя переводами, можно сказать, что Глинка отнесся к нему очень бережно, сохранив первородную поэтичность руны. Его перевод воспроизвел изначальную гамму ее красок, и звучит она душевно, образно и красиво, хотя и стилизованно в духе жанра и времени.

В 1828 году в «Славянине» появилась руна о состязании Вяйнямейнена и Укахайнена.

Поэзия Карелии давно притягивала внимание литераторов России. С марта 1820 года по февраль 1821-го в Вольном обществе любителей российской словесности, которым с 1818 года и до декабряского восстания 1825 года руководил поэт-декабрист Ф.Н.Глинка, трижды выступал кандидат Харьковского университета В.И.Брайкевич с чтением обширной статьи «О северной поэзии, ее происхождении и характере».

Перед поездкой в Италию, которая состоялась в 1828 году, композитор Михаил Иванович

Глинка, увлеченный темой северной карельской поэзии, посетил порог Иматра.

В этой поездке с ним были поэты Антон Дельвиг, Орест Сомов и известная, воспетая Пушкиным Анна Керн. Она оставила восторженные записи о природе северного края.

Уверяют, что в этой поездке Глинка записал мелодию Вещего Финна для оперы «Руслан и Людмила». Позднее, уже прожив немалое время в Италии, Михаил Глинка все чаще обращается в своем творчестве к завышенным полям России. В беседе со знаменитой итальянской певицей Джудиттой Паста он признается, что ему все чаще снятся северные сны.

ВЗГЛЯД ОТТУДА

В Ухте на вечере, посвященном очередному памятному дню «Калевалы», наш республиканский литературный авторитет А. Мишин сделал для нас, ухтинцев, открытие. Тоном городского парня на сельских посиделках он назидательно сказал, что под вашей сосной Лендрота сам Лендрот никогда не сидел и ничего там не записывал. И что это досужая выдумка, дескать, спросите у любого ученого.

Ухтинцы – народ сдержанный, были удивлены, ведь тогда инакомыслящие, пусть даже в таком локальном вопросе, как сидел в Ухте Лендрот или не сидел, не стали оспаривать выступающего. Здесь еще живы были традиции демократии, заложенные в 1905 году. Ну, сказал, ну пусть как корова в воду шлепнула – ну и что, здесь всякое бывало.

Я потом в районной газете напомнил рассказ Р.Киплинга «Как голосованием признали землю плоской». Там было описано общество геопланариев, которые

не согласились с доводами, что земля имеет форму шара, и проголосовали за то, что земля – плоская. Ухтинцы поняли, что этот оратор – посланец такого же общества, и не стали оспаривать неблагодарного гостя. Тем более что он никогда не бывал на том месте, где когда-то стояла сосна Лендрота, и поэтому не сможет понять, что там происходило в воспетые времена.

Сосна стояла на высоком мысу, название которого было Матканиэми. То есть мыс путника. Мысов с таким названием только на Куйтто не менее десятка. Это обычно самый приметный, маяковый мыс на выходе в озеро или на переходе с одной воды на другую.

Он предупреждает путника о подкарауливающей его крестовой волне, перемене ветров и течений, об отмелях или же подсказывает, что в непогоду здесь можно укрыться в избушке. Бывает, что на таком мысу, как и в прежние времена на перекрестьях дорог, установлены крест или часовенка в память о погибших от стихии. На этих крестах путники вязали платки, называемые заветами, как символ скорби о погибших и ожидания милосердия ко всем проходящим. И тогда этот мыс приобретал новое название – Ристиниэми, то есть Крестовый мыс. Есть такой мыс и на Куйтто, напротив места, где погибли два сына купца Митрофанова.

На выходе реки Ухта в озеро Куйтто находился этот мыс, Матканиэми, от которого, перекрестьясь, путники поднимали парус и выходили в озеро. На этом мысу в осеннюю темень или при штурме зажигали костер для тех, кто возвращается со стороны Луусалми или Энонсуу. Другое такое место было в Ликопя, возле почтовой станции. Там костер зажигали к приходу почтовой лодки. Ходила она точно по расписанию и доставляла почту из Вокнаволока,

Войницы, Ювалакши, России, а также, как ни покажется странным, – из Финляндии, Швеции и Америки. Шла она несколько быстрее, чем в наши годы через Петрозаводск. Еще в 1980-е годы из Финляндии почта шла две недели, а в те времена четыре дня.

У этого мыса была еще одна своя особинка. Расположен он напротив кладбища, которому сейчас наверняка более пятисот лет. Как выяснилось после обрушения берега при колебаниях уровня воды (очередной эксперимент покорения природы гидростроителями), захоронения были сделаны на глубине не менее двух метров, и кости покоятся в долбленах колодах с берестяной крышей на белом пе-сочке и березовых прутьях – ста-ринный и неразгаданный обряд.

В Северной Карелии для кладбищ выбирали красивые места, расположенные в пределах видимости и слышимости от деревень. По мнению живых, ушедшие в Туонелу – страну смерти, должны были знать, что их помнят и память их чтут, и когда в тихие утренние илиочные часы полоска ряби вдруг пробегала по зеркалу воды, это означало, что предки вас слышат. В эти часы можно было общаться с ними, хоть вслух, хоть шепотом. И было такое состояние в природе, когда утреннее дуновение поднимало зависшую паутинку, опускало ее на гладь воды и не-весомая нить оставляла на воде едва заметный след. В это мгновение можно было обращаться к течению реки мертвых – Туонелы. Именно в такой умиротворенный миг мать Лемминкяйнена попросила у царства мертвых вернуть ей своего сына. Этот миф живет, и такие мгновения нечасты, их можно увидеть раз или два за жизнь. А может и не случиться такого. Поэтому, проплывая это место, старались го-

ворить тихо и весла опускать без плеска.

Знал ли об этом Лендрот? Конечно же, ему рассказали. И, проезжая из Мийткала или Ламминпохья в Ликопя, он никак не мог миновать это освященное место. Да и местные рунопевцы, они ведь не показания давали, а посвящали уважаемого гостя в свои тайны и приобщали к своим святыням. Я там родился, и самое дорогое мне открывалось тоже не просто, не как-нибудь, а проникало в душу вот такими искорками.

Испокон на этом мысу устраивали праздники, чтобы ушедшие в Туонелу предки не сетовали на забытость и забвение. Все дороги в большой мир начинались с этого берега и с этого мыса, других дорог в те времена не было, и на этом мысу, кто вслух, а кто молча, прощались с дорогими могилами. Так было где-то лет двести назад, а может, и меньше.

В 1920-е годы комсомольцы на месте старого кладбища устроили парк культуры и отдыха. Уж как молили и заклинали их ста-рушки – не подействовало.

Потом этот мыс отгородили складами Кареллеса, и стал он именоваться Карлессун-ниэми. Но первые послевоенные народные праздники рунопевцев по традиции проводились здесь.

Мой учитель рисования Алексей Мартынович Пекшув, уроженец Костомукши, он по возрасту на четверть века старше меня, а по видению прошлого – и на все полтора века.

Так вот он в пятидесятые годы изобразил маслом на полотне сосну Лендрота, уже осыпавшуюся, но при всех сохранившихся седых ветках. Она словно вопрошала: я вдохновила ваших предков, а что сделали вы?

Так была ли подлинной сосна Лендрота? Легенды не вырастают вдруг. Для их рождения, а тем более для утверждения, нужны ве-

ка. Найдите на территории республики более подлинный памятник, с более веской исторической основой. Киров на постаменте между театрами? Или Ленин между губернаторскими домами? Согласен – это выразительные и неоспоримые памятники, но к истории республики они имеют весьма опосредованное отношение.

Помню, когда в Союзе писателей Карелии решали, на каком доме установить памятную доску в честь пролетарского поэта Ялмари Виртанена, то никто из лично знавших его не мог вспомнить, в каком именно доме он жил – в этом или соседнем. А ведь ушел он оттуда в 1939 году.

Основываясь на воспоминаниях и традициях, утверждаю, что сосна Лендрота – памятник исторически подлинный.

«КАЛЕВАЛА» – СКАЗКА ИЛИ ЛЕГЕНДА?

Сколько же за последние десятилетия было теоретизирований и споров вокруг эпоса «Калевала». Его разбирали, препарировали, упражнялись в переводах, утверждая, что все предыдущие были неточными, придумывали новые толкования словам и событиям. Исследователи рассматривали ее как археологическую находку, а не как живую и живущую в народе легенду, которая сформировала народ и целую нацию.

Это даже не легенда, это история жизни народа в поэтическом ореоле, каковой неизбежно создается вокруг героических дел и великих событий.

Подход к «Калевале» ограничивается чаще всего ее разбором как литературного произведения и будничным пересказом изложенных в рунах событий. Такой пересказ всегда приземлен, он не более как разбор сказки.

Но «Калевала» – это легенда, историческая легенда, а легенда всегда направлена в будущее, она оставляет больше свободы, она воодушевляет, призывает держаться определенных, данных предками нравственных устоев, является духовным стержнем народа. Эпические песни в Северной Карелии были формой само выражения и самоутверждения, а подвиги героев, воспетые в них, становились предметом подражания, мерилом нравственности.

Для родственных финноязычных народов, пришедших на места нынешнего обитания тысячу или более тому лет назад, эти сказания когда-то были общими, но по мере того, как менялся жизненный уклад тех или иных групп и народностей, как менялись жизненные ценности, забывалось духовное наследие. Вселившийся в души людей меркантильный дух не оставил там места лирике и песням. И только в kraju Вяйнолы люди продолжали жить по прежним устоям. Счастливо изолированные лесными просторами и водными преградами, они жили по законам природы, брали от нее ровно столько, сколько потребляли, деревни жили заботливыми общинами, не стремясь к наживе за счет чужого труда и не низкопоклонствуя ни перед кем. Здесь надолго сохранился дух равенства и уважения к человеку, забота о стариках и немощных.

Это был не миф, это была реальность, которую рассказал соотечественникам Лендрот. Полвека спустя после него журналист из Оулу Алексантери Эрвasti, побывав здесь, повторил, что здесь живет народ, свободный от всего чуждого и наносного. И несмотря на то, что религия здесь не имела большого влияния на умы людей, поскольку богослужения велись на непонятном для населения русском язы-

ке, и несмотря на отсутствие полиции, правонарушений здесь в четыре раза меньше, чем на той же широте в Финляндии. Здесь нет воровства и грабежей. Люди держатся с достоинством, к гостям относятся с уважением.

Илмари Кианто в Северной Карелии увидел идиллию, образец гармонично устроенного общества, и когда он увидел, как внешние силы пытаются разрушить его, он, как и многие сторонники романтического карелианизма, приложил все силы, чтобы защитить этот край от чуждого и враждебного. По крайней мере, так ему казалось тогда. События тех лет – революция в России, гражданская война на Севере, английская интервенция, белое Северное правительство – все это вихрем закрутилось над Карелией, угрожая растереть и задавить. Как и все романтики, карелианисты наивно поверили в идею освобождения потомков Вяйнямейнена от большевизма, провозглашенную политиками. Аксеи Галлен-Каллела стал адъютантом Маннергейма, Илмари Кианто произносил пламенные речи в защиту свободной Карелии, Самули Паулахарью стал историографом в отряде интервентов, возглавляемом Куйсма. А у политиков, спекулятивно использовавших патриотический запал карелианистов, была лишь одна-единственная цель – захват Карелии, и народ с его идиллическими традициями был нужен им не более как дешевая рабочая сила. В итоге эта интервенция под флагом освобождения принесла только смерть и разрушения.

Но так ли уж непродуктивна и оторвана легенда от реальной жизни? И возымела ли она на сознание людей свое влияние?

К началу XX века становится очевидным, что устои этой карельской патриархально-демократической общины не выдер-

жат капиталистического натиска и сохранить здоровый ее дух можно только здоровыми преобразованиями, пока власть капитала не изуродовала души людей и не внесла в жизнь уже вовсю проявившегося как в России, так и в Финляндии, имущественного неравенства, духовного дисбаланса и рабства.

В 1905–1906 годах ухтинцы в первый раз обратились к правительству России о предоставлении Северной Карелии хозяйственной автономии с обязательствами жить по российским законам, исполнять финансовую и воинскую повинность. В июле 1917 года Временное правительство уже готово было предоставить Карелии такие права, но подошла Октябрьская революция. В 1920-м с такой же просьбой обратились к Советской власти, выдвинув свою программу преобразования края. Программа была реальная, осуществимая, и если бы народу дали возможность ее воплотить, Карелии не пришлось бы наравне со всей страной ввергаться в разруху, вызванную социальными катаклизмами времени, а потом под грохот партийных литавров целые десятилетия героически преодолевать самими же созданные трудности. Программа ухтинцев – это был шаг к социализму, минуя коллективизации, раскулачивания, комбеты и кошмары борьбы с врагами народа. Финляндия и большевики как-то уж очень согласованно сделали все, чтобы такие преобразования на карельской земле не состоялись.

Вроде бы напрашивается вопрос: а какое отношение все это имеет к «Калевале»?

Считаю, что самое непосредственное. Найдите в истории хотя бы один пример, когда общественно-экономические формации менялись без участия настроенного на перемены народа. Ведь и большевики пришли с

очень заманчивыми лозунгами. Здесь же народ был веками воспитан в духе равенства, взаимопомощи, бережливого отношения к природе, настроен был защищать свою свободу.

Этот настрой был сильнее идеологии, принесенной большевиками, он не призывал разрушить старый мир «до основанья, а затем...» Он призывал создавать, и поэтому в последующее десятилетие, в 20-е, 30-е годы, ухтинцы на своей земле сделали больше, чем кто-либо другой в своей местности в России.

«КАЛЕВАЛА» ЖИВАЯ И КАБИНЕТНАЯ

У Илмари Кианто есть прекрасный рассказ «Один на лесной тропе». Это рассказ о том, как он в одиночку отправился в поход через таежную глухомань в Карелии. С гребня перевала открываются лесные дали, угадываются лежащие на пути топи, у говорливого ручья можно разуться и окунуть натруженные ноги в студеную воду, отдохнуть, поразмышлять.

Конечно же, вдвоем, пишет Кианто, было бы интереснее, сподручнее, но в одиночку ощущается все иначе, острее, мысленно охватываешь значительно большие просторы, душой проникаешься в природную суть явлений и всего, что окружает тебя.

Песни, или руны, Северной Карелии рождены по большей части в таком душевном общении с природой. По Калевальскому району протекает одна из самых загадочных рек Северной Карелии – Писто. Сейчас на берегах ее нет ни одного поселения, а не так давно, чуть более полувека, были деревенька Корпиярви и еще выше по течению – Хяме. Названия порогов и озер, через которые проходит эта река, но-

сят не совсем привычные, библейские, а может быть, языческие названия. В реку на середине ее пути, слева, впадает речка Уо-ёки (Yo-joki), или в переводе – река Ночи.(В русской транскрипции название речки невозможно написать правильно.) Со стремнины Писто она почти не заметна, а на правом берегу еще менее заметная протока в Ихмистуш-ярви, что в переводе может означать как озеро Очеловечивания. Ниже порог с таким же названием. Мой земляк, уроженец Калевалы Валерий Добрынин, увидел на берегу камень, напоминающий голову человека, из чего сделал свое предположение о происхождении названия.

Река Ночи тихая, глубокая и с темной водой, закрыта от неба нависающим хвойным пологом, завораживает и будит в воображении легенды о реке Туонела. Это когда ты один на тайской тропе.

Не менее загадочно и озеро. Однажды осенью один из его заливов оказывается усеянным птичьими перьями.

Перед этим, вечером, на озере наступает такое затишье, что опустившаяся на воду паутинка и в самом деле оставляет след. В сумерках в этой тишине, когда вершины высоких сосен не улавливают даже малейшего дуновения ветра, нет-нет да и вздохнут камыши, словно перешептываются тени предков, тихо и незаметно для непосвященных. В это время пороги на реке меняют голоса, их гул становится более ровным и торжественным. Лет, наверно, двадцать носил я в себе это ощущение, и вот в избушке на Хурмуш-ярви, во время нереста сига, бабушка Ваппу Малинен рассказала мне одну сказку о девушке, с горя бросившейся в ревущий порог. Но порог не принял такой жертвы, и, не долетев до воды, девушка превратилась в птицу. С

тех пор один раз в году птичья стая на перелете останавливается на озере возле порога, птицы сбрасывают перья, и на время, до рассвета, становятся девушки. Но остаться в человеческом обличье дано лишь той, которую ищет и ждет на берегу ее суженый. Если нет, то к утру стая снимается и с печальным криком покидает озеро, на котором не суждено им было вернуться в мир людей. На воде в обилии остаются сброшенные к ночи перья. Сказка эта зозвучна теме Тунеллы и возвращения к жизни Лемминкайнена. Но это явление реальное, и повторяется оно каждый год, причем не в период линьки гусей, а на перелете.

Мне так и хотелось сказать, что все это родилось именно здесь, но это не единственное освященное сказкой место. Писатель Пекка Пертту как-то рассказывал мне, что на одном из озер, в окрестностях то ли Вокнаволока, то ли близлежащих к ней деревень, исстари не разрешалось стрелять птиц, тоже по причине какого-то поверья.

«Калевала» вышла из трудовой народной среды. В рунах, которые рассказывают о рождении железа, есть несколько моментов, которые подтверждают, что это не салонная выдумка. Илмаринен безуспешно трудится над поковкой, но она не удается, и тогда он бросает в горно щепотку песка.

Кузнецам свободной ковки, кавковых сейчас едва ли найдешь, известен такой секрет, что при кузнечной сварке необходимо в качестве флюса бросить в горно щепотку песка. Как известно и то, что если в горне побывала хоть медная пылинка, куски стали не сварятся. И если внимательно читать руны, правда, только в оригинале, и знать технологию горячей обработки металлов тех времен, то приоткрываются пути

миграции финноязычных племен. Из названий растений, животных, предметов ткацкого ремесла также прослеживаются климатические и растительные пояса, через которые простирались наши предки тысячу лет назад. При внимательном изучении можно сделать много открытий, которые могли быть незаметными более полутора веков назад, или, напротив, остались незамеченными и непонятными нами, что более вероятно при кабинетном подходе.

Прав был Кастрен, говоря, что в рунах «Калевалы» скрыта великая и неразгаданная тайна, истоки которой еще, возможно, где-то живут.

Многие исследователи, уже после Леннирота, уверовали, что последние сказители унесли с собой старинные песни, и, как писал Инха, придя ранним утром в приграничную деревню Мийнола, он реально ощутил, что там, под дерном, покоятся мудрые сказители и там уснули их песни. Да, ушли великие, и уже стало очевидным, что ничего равного в карельских деревнях больше не найти.

Илмари Кианто в канун Первой мировой войны побывал на Ковдозере. Это на севере Карелии, самая окраина рунопевческих деревень, где Леннирот уже не застал более или менее заметных исполнителей.

Кианто попросил своих попутчиков, карельских гребцов, исполнить какие-либо песни о Вяйнямейнене. Те посоветовали, что нет с ними того мужичка из тех, более южных деревень, который работал здесь прошлым летом на сенокосе, вот он знал старинные песни и умел петь. Тогда Кианто сам стал исполнять песню про Вяйнямейнена из «Калевалы». «Глаза у попутчиков повлажнели, они согласно закивали головами: «так, так...

именно так он пел. Вот теперь хорошо, так они пели, продолжай, продолжай дальше». Они улавливали самые мельчайшие отклонения, каждое слово из песни доходило до их сознания как давно знакомое. Тогда я понял, что наступило то переломное время, когда этот эпический клад, записанный от их великих предков, пора вернуть этому самому народу, от которого полвека назад он был записан и спасен для человечества. Пора было вернуть, но не вернули».

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СОБСТВЕННЫМ ОШИБКАМ

Первый и ставший классическим перевод «Калевалы» на русский язык был выполнен Л.П.Бельским. С участием своих помощников он несколько лет собирал толкование карельских слов и понятий. Самому Леннироту далеко не все слова, пришедшие из древности, были понятными, и тут смог бы помочь разве что Антеро Випунен, мифический персонаж «Калевалы», к которому обратился в поисках трех слов Вяйнямейнен. Этот эпический фрагмент как бы служит напоминанием о том, что главный носитель истории народа – язык – исчезает бесследно и навсегда. Но как теперь найти дорогу к Випунену? Как сделать понятными для русского читателя практически непереводимые имена и названия, в которых заключен глубокий смысл, когда одно такое слово будит целый рой мыслей, возвращает древний колорит и является составной частью эпического повествования, уже почти самостоятельной поэмой?

Приведу один выразительный пример. Как-то меня попросили напомнить слова из терминологии, связанной с сенокосом. С первого захода я написал их бо-

лее пятидесяти, тех, что еще жили в мою бытность, когда сено заготавливали по-дедовски, вручную. Люди более молодого возраста, живущие на селе и ведущие свое домашнее хозяйство, помнили их не более двух десятков, потому что на смену косе и граблям пришли сенокосилки, разная уборочная техника, появились комбикорма и вместе со всем этим пришла новая терминология. Исчезло ремесло косаря, перестали стучать молотки по жалу косы на бабках, не надо закручивать молодую иву на косовища, заготавливать рябиновые прутья для зубьев на грабли. Исчезли зоревые волнения и утратили смысл присказки вроде «коси коса, пока роса, пройдет роса, домой коса». Уже не догоняет никого и не тревожит молодые души сено-косный ветер — бабник, который днем закручивает на лугу, задирает женщинам подолы, а вечером, лукаво стихнув, тянется за ними на сеновал. Луговые запахи остались только в стихах прошлого века.

Потом я стал припоминать снова всю сенокосную терминологию, перешагнул на лесные покосы, заглянул в девятнадцатый век, и меня словно захородили пьянящие воспоминания, стихи, поэмы. Вспомнились заливные луга, сенокосные лодки, заготовка осоки по первому льду — было и такое. Все это происходило в непосредственном соприкосновении с природой, и вот вместе с исчезновением этих работ стирается острота соприкосновения с ней, забывается целый пласт человеческой жизни.

Обо всем этом я говорю на русском языке, по большей части общими, заимствованными из литературы словами. Карельскую терминологию я познал из жизни, она не запечатлена так многократно и красочно в литературе,

она существовала в жизни на моей памяти и уходит с моим поколением, даже раньше, не дождавшись нашего ухода.

Песни, составляющие «Калевалу», дошли до нас из глубокой древности. Народный быт менялся, приходили новые ремесла, рождалась с ними новая терминология, которая со временем в силу таких же причин отмирала. И вот Вяйнямейнену для построения лодки не хватило трех слов, которые мог помнить только ушедший в вечный сон Випунен.

Точный перевод «Калевалы» сделать невозможно, это очевидно. Но как сделать содержание эпоса максимально понятным? Если исходить из реалий книжного мира, то людей, внимательно и пытливо читающих в старинные песни, очень и очень немного. Люди, всерьез занятые этой темой, предпочитают изучать эпос в оригинале, а книга переводов, да еще красочно оформленная, является экзотическим подарком, сувениром для гостей. И это хорошо, в первую очередь для книжной торговли. Но не овладел ли переводчики А. Мишиным и Э. Киуру такой сувенирный подход при переводе. Скидка на то, что читать будут люди, не знающие языка оригинала? И хвалебные отзывы будут давать они же, титулованные и маститые. В литературе издавна существует своеобразная фабрика звезд, о которой писал еще незабвенный Крылов: «Кукушка хвалил петуха...»

У кабинетных исследователей, а среди них были и немцы, и шведы, положим, не было возможности обратиться к истокам эпоса. Они видели перед собой чуть ли не археологический памятник, и им было вовсе невдомек, что «Калевала» живет, нравы и традиции, воспетые в ней, еще живут в народе, и сама ле-

генда тревожит души людей, управляет их поступками.

С другой стороны, понятно — как вникнуть в незнакомый язык, который и финнам не всегда понятен.

По времени ближе всех к изначальному толкованию слов и понятий был Л. П. Вельский. Естественно, и у него есть неточности. Но возьмите любой перевод, будь то прозаический или поэзия, в нем всегда можно найти неточности. Другое дело — неточности, отдаляющие от понимания оригинала, или же неточности, в которых средствами языка перевода пытаются приблизить понимание оригинала.

В «Калевале» встречается слово «варпапу». Бельский перевел его как «стеньга». Для его времени это привычное слово из морского лексикона. Стеньга — это продолжение мачты для увеличения площади парусности. Она применима для больших, остойчивых парусных судов, но для лодки, на которой герои «Калевалы» отправляются в путь, она ни к чему, она приведет это суденышко к опрокидыванию. Но в этом, на мой взгляд, нет ошибки, поскольку сам дух решимости перехода по воде вовсе не нарушается. Да еще с такой целью!

В карельском языке «варпапу» встречается и поныне и в нескольких значениях. И как свежесрубленное затесанное дерево, и как шест для прохождения на лодке вверх по течению, и для сено-коса. «Варпавичча» — это березовые прутья, свитые в плети для уключин или для связывания плотов. В те времена, и много позднее, в этом случае слово «варпапу» означало реёк на парусе, который тоже служил для увеличения парусности, только не вверх, как стеньга, а вширь, а также для улучшения управляемости лодкой.

Этот вид парусного вооруже-

ния пригоден для плавания по внутренним водоемам, где за каждым мысом поджидает свой ветер, неожиданно бьет крестовая волна «ристиаалто». При такой оснастке, если ветер начинает заваливать лодку, парус убирается очень быстро. Это опять же поясняющие детали, которые не расскажешь читателю, но переводчику не следует пренебрегать ими. Небрежность перевода выказывает неважение к переводимому произведению, а также к его читателю.

По мнению Мишина и Киуру, русскому читателю трудно произносить слова Лоухи, Каукомиэли, «укахайнен и другие, и они решили сделать их восприятие более доступным.

Так появились Ловхи, Кавкомъели, «вкахайнен. Ох уж этот бездарный русский читатель! Ему не трудно произносить французские, английские, испанские имена и названия, а тут – обкатанные чуть ли не за полтора века и столь же долгое время знакомые российскому просвещенному обществу названия надо переиначить, и так, чтобы за этим утратилось изначальное содержание. Финны предпочитают французские, английские и прочие иностранные имена писать в своей литературе с буквальной точностью, что предполагает некоторую способность читателя прочитать и произнести их. У них так принято. Но к чему же такие неожиданные изменения в карельских названиях? Каждое из них в изначальном своем значении – это целая поэма или, по меньшей мере, ее неотъемлемая часть. В каждом из этих слов скрыта древняя неразгаданная поэзия, своя тайна, в попытках постичь которую сторонники романтического карелизма совершили долгие вояжи в Карелию. Этую тайну не разгадать, обложившись словарями, на это

надо взглянуть оттуда, из глубины веков. Лоухи, Каукомиэли, «укахайнен, Лемминкяйнен, Вяйнола, Пиментола, Вуюела, Похъёла, Сариола, Утуниэми, Каукола, Миэлкики, Пеллервойнен, Катаятар. За каждым из этих имен и названий скрыты шум леса, отблески костра, голос порогов, утешение в долгом пути и тихая радость общения с природой в одиночестве. Не будем забывать, что все эти песни рождены и отточены в общении с природой.

В этом Кавкомъели из переведенного текста уже и вовсе не узнать того Каукомиэли, который, если присмотреться взглядом оттуда, может означать мудреца, человека, далеко видящего вперед, умеющего предугадать и предсказать, как невозможно не узнать при одном упоминании о граде Китеже красивой легенды. Ну, пусть не так, мои аналогии заведомо неверны, но живут они также в легенде, напоминают, будоражат и будят.

В народной речи эти имена и названия нет-нет да и появляются и воспринимаются как некогда, в полном ореоле своей загадочности.

Каждое из дошедших до нас имен и названий живут сами по себе, самостоятельной поэмой.

Названия в Северной Карелии, в деревнях Вяйнолы, имеют свое особое происхождение. Здесь карельский язык созвучен голосам природы, и часто в названиях мест слышится что-то характерное для местности, то ли климатические особенности, то ли характер пути. Деревни или отдельные избы и хуторки находились на большом отдалении друг от друга, и этим местам обитания часто давали такие названия, из которых человек, живущий в этой местности, мог понять не только, где они находятся, но порой климат, характер дорог и нравы хозяев. Чем боль-

ше в разговорную речь внедрялись понятия большого общества, социальная терминология, тем дальше вглубь отходил народный образный язык. Он постепенно погружался в глубины небытия. Образ Випунена, хранителя мудрости и слов в «Калевале», не слушен. Видимо, еще в те века возникала тревога об исчезновении слов, а с ними цепного пласта народного быта. Характерно и то, что для построения лодки Вяйнямейнену не хватило трех слов. Трех слов, а не лодочных мастеров, инструментов или материалов. Слова были и тем, и другим, они были ключом к решению всех этих материальных проблем.

Я уже упоминал про названия на безлюдной и загадочной реке Писто, которые имеют какое-то свое библейское или языческое звучание.

В отроческие годы мне довелось работать в лесоустроительной экспедиции, общаться в этих таежных странствиях с гидрологами и геологами и, само собой, быть переводчиком. Не в обычных разговорах, бытовой русской тогда местные жители в большинстве своем понимали. А именно в толковании названий на местности, в попытках докопаться до изначального их смысла. Ученых и специалистов это интересовало потому, что они успели убедиться, что в топонимике можно найти ответ на интересующий их предмет поиска.

И вот еще один момент из того же экспедиционного лета. Мне часто приходилось из лагеря, который не один раз за полевой сезон менял свои стоянки, пешком ходить в штаб экспедиции в Юшкозеро, примерно за шестьдесят километров. Дед Пекка, работавший в нашей группе, пояснял мне, как надо идти. Он перечислял названия мест, эти названия были так же и притетами, так как

никаких более определенных ориентиров на местности не было. Просто когда я подходил к этим местам, я понимал, насколько название отвечает его характеру. Такие же ориентиры давали мне старики из Юшкозера. Более точный ориентир – родник, затеску или костище – найти было бы очень трудно, если ты не был уверен, что находишься в этой местности. Это примерно так же, как, прежде чем найти нужный дом, надо попасть именно в тот город.

Так и названия и имена, записанные в «Калевале», передают целую гамму информации, поэзии, настроений, предостерегают персонажей о том, что их ждет на этой или другой земле, а имена во многом являются характеристиками людей.

Как-то в Калевале, то бишь в Ухте, Пааво Антипин, лесник и краевед, писатель, влюбленный в свой край, показал мне карту озер Куйтто, на которой он обозначил названия всех заливов, ручьев, мысов, островов участков берега, обжитых ранее и таких, где человек никогда не обитал. Я загорелся: настолько это было выразительное произведение. Я хотел опубликовать это в финском приложении к газете, но доблестная и бдительная советская цензура запретила. Она усмотрела в этом попытку расекречивания государственных тайн. Где сейчас этот документ? (Я не случайно назвал его произведением, потому что слово «документ» для такой тонкой вещи кажется оскорбительным.)

Ни в коем случае нельзя менять названия и имена в «Калевале», пусть это является даже единственным новшеством, найденным авторами перевода. Маттиас Александери Кастрен прав, говоря, что в «Калевале» кроются неразгаданные тайны. Подобраться к их разгадке грубой пос-

тупью из пыльного кабинета едва ли удастся. Надо тоньше, поэтичнее присмотреться к тому, что еще сохранилось в жизни, искать разгадку в ней.

В «Севере» читаю, что, по мысли Мишина, Бельский был неправ, переведя строки:

Se kutoi sataisen nuotan
Tuhantisen tuikutteli
Сто сетей наплел он, старый,
Сеток тысячу окончил.

И вот предлагаемый авторами перевод:

В сто ячеек создал невод,
В тысячу – огромный бредень.

Пусть перевод Бельского неточчен, но предлагаемый просто абсурден как с точки зрения языка, так и самого предмета.

«Нутта» в переводе это, естественно, невод. Карельский и поморский неводы сильно отличаются друг от друга, как и промысловое их использование. Самый короткий и лёгкий карельский невод – это «пайссенутта». Использовался он летом, как правило, во время сенокоса. Косари перед обедом, часто совмещая рыбалку с купанием, заводили его и ловили рыбу на обед. Последний такой невод висит на стене в сарае дома Мари Каллио в Пирттилакши и уже пятьдесят лет не используется.

Изготовить невод – задача трудоёмкая. Обычно деревня покупала невод в складчину или же на нескольких хозяев. Изготовить такой невод – это очень трудоёмкая работа. Но такой невод, который предлагают Мишин и Киуру, – под стать купить на сдачу в лавке после покупки свечей.

Связать сто ячеек – это от силы пять минут, и то при грубой нитке. А насчет огромного бредня в тысячу ячей – тоже не впечатляет. К тому же для ловли ры-

бы в северных водах бредень не применяется. Простудишься за одну рыбалку и заболеешь. Здесь сходный с бредневым ловом применяется метод «тарбанья». Это чаще в теплую погоду, когда щука стоит под берегом, заливчик перегораживается сеткой, чаще грубой, а рыбу от берега тарбаньем загоняют в сеть. Кстати, слово «тарбанье» безусловно происходит от слова «тарпукоя», то есть шуметь, стучать по воде и брызгать.

Ну, и еще одно слово: «туйкуттели». Вязание сетей – это была работа для долгих зимних вечеров. Днем делали дневные работы, а долгими вечерами, при свете коптилки или масляного светильника–туйкку вязали сети. Движения здесь однообразные и привычные. Это слово я встречал на осенней рыбалке, когда день короче, чем крик чайки, и стоило поставить сети, как ночь уже плотно опускалась за окном, отгораживала небесный свет. Словом «туйкуттели» также объясняли однообразную и долгую работу. Именно таковой и было вязание сетей. Обычно эту работу выполняли старики, которые в рыбачких избушках становились устроителями быта, топили печки, варили еду, чинили сети.

Работа на озере осенью была нешуточным делом. Выгребать под пронизывающим ветром и на волне, держать лодку в такую погоду в удобном для выбирающего сети кормицка положении, оттирать корпусом лодки шугу, чтобы меньше забивала сети, и при всем при этом не обращать внимания на ледяные брызги и мокрую промерзающую одежду – это уже удел молодых и здоровых. Все это воспринималось как нечто обычное и неизбежное. Не припомню случая, чтобы это вызывало у меня досаду или нежелание снова выходить на озеро, напротив. Было приятно

возвращаться в натопленную избушку, где на плите стоял горячий чайник, шипела на сковородке рыба и где можно было снять и развесить на жердочки над печкой промокшую и заледеневшую одежду. Это ощущение уюта искупало все, и едва ли я когда-либо в городском быту чувствовал себя более счастливым. На гвозде, прибитом к балке, висела порванная на прошлой постановке сеть, и старая Ваппу с иглицей в руках латала порванные места – «туйкунтели». В одном этом слове – живая картина карельского быта, ощущение домашнего уюта и покоя долгих зимних вечеров.

И вы знаете, это не проза, это поэзия жизни, простая и необходимая. Отсветы пламени из печки розовыми зайчиками пляшут по бревенчатым стенам, потрескивают горящие поленья, а за оконцем хмурится дождями осенний вечер. Все это воспринимается сердцем светло, и вовсе не возникает мыслей о том, какая трудная работа предстоит на завтра. Это просто осень, с которой ты в добром согласии разделяешь единую судьбу. Так испокон веку воспринимались в народе все работы. У вольного народа нет каторжного труда. В народной поэзии, в «Калевале», вы не найдете проклятий тяготам жизни.

Разве что тема Куллерво. Но она с детства отпугивала меня и выталкивала из мира радостных впечатлений.

Я привел несколько примеров. Я не вдаюсь в разбор неточностей. Повторяю, что точно перевести невозможно, просто нельзя допускать небрежностей в расчете на то, что русский читатель все равно не поймет.

Почему я от поэзии рун перехожу к поэзии лесного быта? Объяснение простое: для меня и то и другое – родина, завещанная моими предками. С чем мы

вышли в трудный 1941 год? С мыслью защитить родину. И с чего мы начали 1945-й? С мыслью восстановить все разрушенное в войну. И мы справились, мы победили, мы построили. Правда, не совсем так, как нам хотелось, но построили.

Финляндия после того, как жившее в народе эпическое завещание предков увидело свет, воспряла духом свободы, в просвещенных кругах появилось чувство самосознания, национальной гордости. На мой взгляд, сейчас настало именно такое время, когда народ Севера Карелии нуждается именно в возрождении такой духовной опоры, которая служила нашим предкам и нам на протяжении столетий. Не в стилистическом разборе старинных рун, а в возвращении эпоса народу.

Политики очень часто говорят об отсутствии у нас национальной идеи. Они лукавят. Издавна была на Руси и есть единая национальная идея: служение Отечеству. Какие бы правительства ни приходили, народ в трудные годы вставал на защиту Отечества.

Почему же сейчас пытаются найти какое-то иное толкование? Из страха? Народ может потребовать возврата разворованных государственных ценностей. И это его право. Не пора ли возвратить народу то, что ему принадлежит, и не пытаться отторгнуть от него духовные ценности, которые наследовали ему предки. Они на протяжении всей истории, в самые трудные годы, являлись духовным стержнем, придавали силы, напоминали о достоинстве и чести.

Нашей национальной идеей на протяжении многих веков было бескорыстное служение Отечеству. Как и на Руси. Те, кто говорят, что ее нет, видимо, хотят найти такую идею, которая будет

лично им выгодна, или боятся возрождения такой идеи, которая вернет народу чувство гражданского и национального достоинства.

Это именно то, что было завещано нам нашими предками.

